

СТОЛБЦЫ

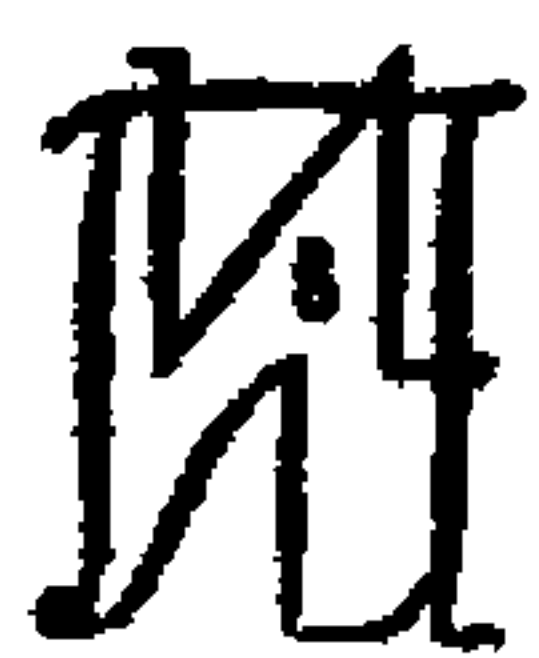
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

14

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

С Т О Л Б Ц Ы

19  29

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

ОБЛОЖКА ПО МАКЕТУ М. КИРНАРСКОГО



**Гос. тип.
им. Евг. Соколовой,
пр. Кр. Командиров, 29.**



Ленинградский Областлит № 15667. Тираж 1200 -- 3 л. Заказ № 651.

1

КРАСНАЯ БАВАРИЯ

В глуши бутылочного рая,
где пальмы высохли давно, —
под электричеством играя,
в бокале плавало окно;
оно на лопастях блестело,
потом садилось, тяжелело;
над ним пивной дымок вился...
Но это описать нельзя.

И в том бутылочном раю
сирены дрогли на краю
кривой эстрады. На поруки
им были отданы глаза.
Они простерли к небесам
эмалированные руки
и ели бутерброд от скуки.

Вертятся двери на цепочках,
спадает с лестницы народ,
трещит картонною сорочкой,
с бутылкой водит хоровод;
сирена бледная за стойкой
гостей попотчует настойкой,
скосит глаза, уйдет, придет,
потом, с гитарой наотлет,

она поет, поет о милом:
как милого она кормила,
как ласков к телу и жесток —
впивался шелковый шнурок,
как по стаканам висла виски,
как, из разбитого виска
измученную грудь обрызгав,
он вдруг упал. Была тоска,
и все, о чем она ни пела, —
в бокале отливало милом.

Мужчины тоже все кричали,
они качались по столам,
по потолкам они качали
бедлам с цветами пополам;
один — язык себе откусит,
другой кричит: я — иисусик,
молитесь мне — я на кресте,
под мышкой гвозди и везде...
К нему сирена подходила,
и вот, колено оседлав,
бокалов бешеный конклав
зажегся как паникадило.

Глаза упали точно гири,
бокал разбили — вышла ночь,
и жирные автомобили,
схватив под мышки Пикадилли,

легко откатывали прочь.
Росли томаты из прохлады,
и вот опущенные вниз —
краснобаварские закаты
в пивные днища улеглись,
а за окном — в глуши времен
блистал на мачте чемпион.

Там Невский в блеске и тоске,
в ночи переменявший кожу,
гудками сонными воспет,
над баром вывеску тревожил;
и под свистками Германдады,
через туман, толпу, бензин,
над башней рвался шар крылатый
и имя „Зингер“ возносил.

Авг. 1926

БЕЛАЯ НОЧЬ

Гляди: не бал, не маскарад,
здесь ночи ходят невпопад,
здесь, от вина неузнаваем,
летает хохот попугаем;
раздвинулись мосты и кручи,
бегут любовники толпой,
один — горяч, другой — измучен,
а третий — книзу головой...
Любовь стенает под листьями,
она меняется местами,
то подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
вдруг барабан заговорил —
ракеты, в полукруг сомкнувшись,
вставали в очередь. Потом
летели огненные груши,
вертя бенгальским животом.

Качались кольца на деревьях,
спадали с факелов отрепья
густого дыма. А на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,

все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным как медали.
Но это был один обман.

Я шел подальше. Ночь легла
вдоль по траве, как мел бела:
торчком кусты над нею встали
в ножнах из разноцветной стали,
и куковали соловьи
верхом на веточке. Казалось,
они испытывали жалость,
как неспособные к любви.

А там, надувшись, точно ангел,
подкарауливший святых,
на корточках привстал Елагин,
ополоснулся и затих:
он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, шел пароходик
с музыкой томной по бортам,
к нему навстречу лодки ходят,
гребцы не смыслят ни-черта;
он их толкнет — они бежать,
бегут-бегут, потом опять
идут — задорные — навстречу.

Он им кричит: я искалечу!
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред,
и белый воздух липнет к крышам,
а ночь уже на ладан дышит,
качается как на весах.
Так недоносок или ангел,
открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса.

Июль 1926

ФУТБОЛ

Ликует форвард на бегу,
теперь ему какое дело? —
как будто кости берегут
его распаханное тело.
Как плащ, летит его душа,
ключица стучается звонко
о перехват его плаща,
танцует в ухе перепонка,
танцует в горле виноград
и шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
его отравною поят,
но каблуков железный яд
ему страшнее во сто крат.
Назад!

Свалились в кучу беки,
опухшие от сквозняка,
и вот — через моря и реки,
просторы, площади, снега —
расправив пышные доспехи
и накреньясь в меридиан,
слетает шар.

Ликует форвард на пожар,
свинтив железные колена,

но уж из горла бьет фонтан,
он падает, кричит: измена!
А шар вертится между стен,
дымится, пучится, хохочет,
глазок сожмет — спокойной ночи!
глазок откроет — добрый день!
и форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,
над ними трубы не гремят,
их сосчитал и тряпкой вытер
меланхолический голкипер
и крикнул ночь. Приходит ночь.
Бренча алмазною заслонкой,
она вставляет черный ключ
в атмосферическую лунку —
открылся госпиталь.

Увы!

Здесь форвард спит
без головы.

Над ним два медные кошья
ушрямый шар веревкой вяжут,
с плиты загробная вода
стекает в ямки вырезные
и сохнет в горле виноград.
Спи, форвард, задом наперед!

Спи, бедный форвард!
Над землею
заря упала глубока,
танцуют девочки с зарею
у голубого ручейка;
все так же вянут на покое
в лиловом домике обои,
стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

Авг. 1926

2

М О Р Е

Вставали горы старины,
война вставала. Вкруг войны
скрипя, летели валуны,
сиянием окружены.

Чернело море в пароход
и волны на его дорожке,
как бы серебряные ложки,
стучали. Как слепые кошки,
мерцая около бортов,
бесились весело. Из ртов,
из черных ртов у них стекал
поток горячего стекла,
стекал и падал, надувался,
качался, брызгал, упадал,
навстречу поднимался вал
и шторм кружился в буйном вальсе,
и в пароход кричал: «Попался!
Ага, попался!» Или: «Ну-с,
вытаскивай из трюма груз!»

Из трусости или забавы
прожектор волны надавил
и, точно каменные бабы,
они ослепли. Ветер был
все осторожней, тише к флагу,

и флаг трещал как бы бумага
надорванная. Шторм упал
и вышел месяц наконец,
скользнул сияньем между палуб,
и мокрый глянец лег погреться
у труб. На волнах шел румянец,
зеленоватый от руля,
губами плотно шевеля...

Ноябрь 1926

О ФОРТ

И грянул на весь оглушительный зал:
— Покойник из царского дома бежал!

Покойник по улицам гордо идет,
его постояльцы ведут под уздцы;
он голосом трубным молитву поет
и руки ломает наверх.

Он — в медных очках, перепончатых рамах,
переполнен до горла подземной водой,
над ним деревянные птицы со стуком
смыкают на створках крыла.

А кругом — громобой, цилиндров бряцанье
и курчавое небо, а тут —
городская коробка с расстегнутой дверью
и за стеклышком — розмарин.

Янв. 1927

ЧЕРКЕШЕНКА

Когда заря прозрачной глыбой
придавит воздух над землей,
с горы, на колокол похожей,
летят двускатные орлы;
идут граненые деревья
в свое волшебное кочевье;
верхушка тлеет, как свеча,
пустыми кольцами бренча;
а там за ними, наверху,
вершиной пышною качая,
старик Эльбрус рахат-лукум
готовит нам и чашку чая.

И выплывает вдруг Кавказ
пятисосцовой громадой,
как будто праздничный баркас,
в провал парадный Ленинграда,
а там — черкешенка поет
перед витриной самоварной,
ей Тула делает фокстрот,
Тамбов сапожки примеряет,
но Терек мечется в груди,
ревет в разорванные губы
и трупом падает она,
смыкая руки в треугольник.

Нева Арагвою течет,
а звездам — слава и почет:
они на трупик известковый
венец построили свинцовый,
и спит она... прости ей бог!
Над ней колышется веночек
и вкось несется по теченью
луны путиловской движенье.

И я стою — от света белый,
я в море черное гляжу,
и мир двоится предо мною
на два огромных сапога —
один шагает по Эльбрусу,
другой по-фински говорит,
и оба вместе убегают,
гремя по морю — на восток.

Янв. 1926

ЛЕТО

Пунцовое солнце висело в длину,
и весело было не мне одному —
людские тела наливались как груши,
и зрели головки, качаясь, на них.
Обмякли деревья. Они ожирели
как сальные свечи. Казалось нам —
под ними не пыльный ручей пробегает,
а тянется толстый обрывок слюны.
И ночь приходила. На этих лугах
колючие звезды качались в цветах,
шарами легли меховые овечки,
потухли деревьев курчавые свечи;
пехотный пастух, заседая в овражке,
чертил диаграмму луны,
и грызлись собаки за свой перекресток —
кому на часах постоять...

Авг. 1927

3

ЧАСОВОЙ

На карауле ночь густеет,
стоит, как кукла, часовой,
в его глазах одервенелых
четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны, как лампы,
знамена пышные полка
в серпах и молотах измятых
пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на коне
гремит, играя при луне;
там вой кукушки полковой
угрюмо тонет за стеной;
тут белый домик вырастает
с квадратной башенкой вверху,
на стенке девочка витает,
дудит в прозрачную трубу;
уж к ней сбегаются коровы
с улыбкой бледной на губах...
А часовой стоит впотьмах
в шинели конусообразной;
над ним звезды пожарик красный
и серп заветный в головах.
Вот — в щели каменные плит
мышинные просунулися лица,
похожие на треугольники из мела

с глазами траурными по бокам...
Одна из них садится у окошка
с цветочком музыки в руке,
а день в решетку пальцы тянет,
но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
стоит, как кукла, часовой
и пролетарий на коне
его хранит, расправив копьё,
ему знамена — изголовье
и штык ружья — сигнал к войне...
И день доволен им вполне.

Февр. 1927

НОВЫЙ БЫТ

Выходит солнце над Москвой,
старухи бегают с тоской:
куда, куда итти теперь?
Уж новый быт стучится в дверь!
Младенец наглядко обструган,
сидит в купели как султан,
прекрасный поп поет как бубен,
паникадиллом осиян;
прабабка свечку выжимает,
младенец будто бы мужает,
но новый быт несется вскачь —
младенец лезет окарач.
Ему не больно, не досадно,
ему назад не близок путь,
и звезд коричневые пятна
ему наклеены на грудь.
Уж он и смотрит свысока,
(в его глазах — два оселка),
потом пирует до отказу
в размахе жизни трудовой,
гляди! гляди! он выпил квасу,
он девок трогает рукой
и вдруг, шагая через стол,
садится прямо в комсомол.

А время сохнет и желтеет,
стареет папенька-отец
и за окошками в аллее
играет сваха в бубенец.
Ступни младенца стали шире,
от стали ширится рука,
уж он сидит в большой квартире,
невесту держит за рукав.
Приходит поп, трясая ногами,
в ладошке мощи бережет,
благословить желает стенки,
невесте — крестик подарить...
— Увы! — сказал ему младенец, —
уйди, уйди, кудрявый поп,
я — новой жизни ополченец,
тебе-ж — один остался гроб!
Уж поп тихонько плакать хочет,
стоит на лестнице, бормочет,
уходит в рощу, плачет лихо;
младенец в хохот ударял —
с невестой шепчется: Шутиха,
скорей бы час любви настал!

Но вот знакомые скатились,
завод пропел: ура! ура!
и новый быт, даруя милость,
в тарелке держит осетра.
Варенье, ложечкой носимо,

успело сделаться свежо,
жених проворен нестерпимо,
к невесте лепится ужом,
и председатель на-отвале,
чете играя похвалу,
приносит в выборгском бокале
вино солдатское, халву,
и, принимая красный спич,
сидит на столике кулич.

Ура! ура! — заводы воют,
картошкой дым под небеса,
и вот супруги на покое
сидят и чешут волоса.
И стало все благоприятно:
приходит ночь, ушла обратно,
и за окошком через миг
погасла свечка-пятерик.

Апр. 1927

ДВИ НИЕ

Сидит извозчик как на троне,
из ваты сделана броня,
и борода, как на иконе,
лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
то вытянется, как налим,
то снова восемь ног сверкают
в его блестящем животе.

Декабрь 1927

НА РЫНКЕ

В уборе из цветов и крынок
открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты словно кадки,
их шаль — невиданной красы,
и огурцы, как великаны,
прилежно плавают в воде.

Сверкают саблями селедки,
их глазки маленькие кротки,
но вот — разрезаны ножом —
они свиваются ужом;
и мясо властью топора
лежит как красная дыра;
и колбаса кишкой кровавой
в жаровне плавает корявой;
и вслед за ней кудрявый пес
несет на воздух постный нос,
и пасть открыта словно дверь,
и голова — как блюдо,
и ноги точные идут,
сгибаясь медленно посередине.

Но что это?

Он с видом сожаленья
остановился наугад
и слезы, точно виноград,

из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд,
один — играет на гитаре;
он весь откинулся назад,
ему обрубок помогает,
а на обрубке том — костыль
как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажется,
он ею хвастается, машет,
он вырвал палец через рот,
и визгнул палец, словно крот,
и хрустнул кости перекресток,
и сдвинулось лицо в наперсток.

А третий — закрутив усы,
глядит воинственным героем,
в глазах татарских, чуть косых —
ни беспокойства ни покоя;
он в банке едет на колесах,
во рту запрятан крепкий руль,
в могилке где-то руки сохнут,
в какой-то речке ноги спят...
На долю этому герою
осталось брюхо с головою
да рот большой, как рукоять,
рулем веселым управлять!

Вон — бабка с пленкой вместо глаз
сидит на стуле одиноком,
и книжка в дырочках волшебных
(для пальцев — милая сестра)
поет чиновников служебных,
и бабка пальцами быстра...

Ей снится пес.
И вот — поставлен
судьбы исправною рукой,
он перед ней стоит, раздавлен
своей прекрасною душой!
А вокруг — весы как магелланы,
отрепья масла, жир любви,
уроды словно истуканы
в густой расчетливой крови,
и визг молитвенной гитары,
и шапки полны, как тиары,
блестящей медью... Недалек
тот миг, когда в норе опасной
он и она, он — пьяный, красный
от стужи, пенья и вина,
безрукий, пухлый, и она —
слепая ведьма — спляшут мило
прекрасный танец-козерог,
да так, что затрещат стропила
и брызнут искры из-под ног...
И лампа взвояет как сурок.

ПИР

В железной комнате военной,
где спит винтовок небосклон,
я слышу гром созвездий медный,
копыт размеренный трезвон.
Она летит — моя телега,
гремя квадратами колес,
в телеге — громкие герои
в красноармейских колпаках.
Тут пулемет, как палец, бьется,
тут пуля вьется сосунком,
тут клич военный раздается,
врага кидая кверху дном.
А конь струится через воздух,
спрягает тело в длинный круг
и режет острыми ногами
оглобель ровную тюрьму.

Шумят точеные цветочки,
ладони жмутся горячей,
а ночь нам пива ставит бочку,
боченок тостов и речей.
Под грохот каменных стаканов,
пивную медную струю —
мы пьем становье истуканов,
в штыки построенных в бою!

Мы пьем — и волосы трясутся,
от потных рук струится пар,
но лица плоски точно блюда,
и лампы маленький пожар
сползает синими струями
на потемневшую ладонь;
знамена подняты баграми
и в буквах — вдавленный огонь,
и хохот заячий винтовок,
шум споров, кочки недомолвок,
и штык, пронзающий стакан
через разорванный туман!

О, штык, летающий повсюду,
холодный тельцем, кровяной,
о, штык, пронзающий Иуду,
коли еще — и я с тобой!
Я вижу — ты летишь в тумане,
сияя плоским острием,
я вижу — ты плывешь морями
граненым вздернутым копьем.
Где раньше бог клубился чадный
и мир шумел — ему свеча;
где стаи ангелов печатных
летели в небе, волоча
пустые крылья шалопаев, —
там ты несешься, искупая
пустые вымыслы вещей —
ты, светозарный как Кашей!

Тебе еще не та забота,
тебе еще не тот полет —
за море стелется пехота,
и ты за море правишь ход.
За море стелются отряды,
вон — я стою, на мне — шинель,
(с глазами белыми солдата
младенец нескольких недель).
Я вынул маленький кисетик,
пустую трубку без огня,
и пули бегают как дети,
с тоскою глядя на меня...

Янв. 1928

ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
почти влезая в каждый дом;
давно их кончено кочевье —
они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
домами плотно заперта.

Но вот — все двери растворились,
повсюду шепот пробежал:
на службу вышли Ивановы
в своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
им подают свои скамейки;
герои входят, покупают
билетов хрупкие дощечки,
сидят и держат их перед собой,
не увлекаясь быстрою ездой.

А мир, зажатый плоскими домами,
стоит, как море, перед нами,
грохочут волны мостовые,
и через лопасти колес —
сирены мечутся простые
в клубках оранжевых волос.
Иные — дуньками одеты,

сидеть не могут взаперти:
ногами делая балеты,
они идут. Куда итти,
кому нести кровавый ротик,
кому сказать сегодня „котик“,
у чьей постели бросить ботик
и дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда итти?!

О, мир, свинцовый идол мой,
хлещи широкими волнами
и этих девок упокой
на перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня — грозный мир,
в домах — спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка — словно Арарат,
повитый кружевцем бумажным,
где стол стоит и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?

О, мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,
одним проплеванным амбаром,

одной мышиною норой,
но будь к оружию готов:
целует девку — Иванов!

Янв. 1928

СВАДЬБА

Сквозь бревна хлещет длинный луч,
могучий дом стоит во мраке,
огонь раздвинулся горюч
сквозь окна в каменной рубахе;
медали вывесками меди
висят, фонарь пустынный бредит
над цифрой, выдавленной пальцем
мансарды бедным постояльцем.
И сквозь большие коридоры,
где балки лезут в потолок,
где человеческие норы
домашний выдавил сурок, —
нам кухня кажется органом,
она поет в сто двадцать дудок,
она сверкает толстым краном,
играет в свадебное блюдо;
кофейных мельниц на ветру
мы слышим громкую игру —
они качаются во мраке
четырехгранны, стройны, наги,
и на огне, как томада,
сидит орлом сковорода.

Как солнце черное амбаров,
как королева грузных шахт,

она спластала двух омаров,
на постном масле просияв!
Она яичницы кокетство
признала сердцем бытия,
над нею прокликает детство
цыпленок, синий от мытья —
он глазки детские закрыл,
наморщил разноцветный лобик
и тельце сонное сложил
в фаянсовый столовый гробик.
Над ним не поп ревел обедню,
махая по-ветру крестом,
ему кукушка не певала
коварной песенки своей —
он был закован в звон капусты,
он был томатами одет,
над ним, как крестик, опускался
на тонкой ножке сельдерей.
Так он почил в расцвете дней —
ничтожный карлик среди людей.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок,
бокалу винному невмочь
расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
сидит вокруг, пером блистая,
и лысый венчик горностая

венчает груди, ожирев
в поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
хрипят в неуголенной страсти,
и, распуская животы,
в тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
сидят как выстрел из ружья,
но крепость их воротников
до крови вырезала шеи,
а на столе — гремит вино,
и мяса жирные траншеи,
и в перспективе гордых харь
багровых, чопорных и скучных —
как сон земли благополучной,
парит на крылышках мораль.

О, пташка божья, где твой стыд?
И что к твоей прибавит чести
жених, приделанный к невесте
и позабывший гром копыт?
Его лицо передвижное
еще хранит следы венца;
кольцо на пальце молодое
сверкает с видом удальца;
и поп — свидетель всех ночей —
раскинув бороду забралом,
сидит как башня перед балом,
с большой гитарой на плече.

Так бей, гитара! Шире круг!
Ревут бокалы пудовые.
Но вздрогнул поп, завыл и вдруг
ударил в струны золотые!
И вот — окончен грозный ужин,
последний падает бокал,
и танец истуканом кружит
толпу в расселину зеркал,
руками скорченными машет,
кофейной мельницей вертит,
ладонями по роже мажет,
потом кричит: иди, иди,
ну что ж, иди!
И по засадам,
ополоумев от вытья,
огромный дом, виляя задом,
летит в пространство бытия.
А там — молчанья грозный сон,
нагие полчища заводов,
и над становьями народов —
труда и творчества закон.

Февр. 1928

ФОКСТРОТ

В ботинках кожи голубой,
в носках блистательного франта,
парит на воздухе герой
в дыму гавайского джаз-банда.
Внизу — бокалов воркотня,
внизу — ни ночи нет ни дня,
внизу — на выступе оркестра
как жрец качается маэстро,
он бьет рукой по животу,
он машет палкой в пустоту
и легких галстуков извилина
на грудь картонную пришпилена.

Ура! ура! Герой парит —
гавайский фокус над Невою!
То ручки сложит горбылем,
то ногу на ногу закинет,
то весь дугою изогнется,
но нету девки перед ним —
и улетает херувим,
и ножка в воздухе трясется.

А бал гремит — единорог
и бабы выставили в пляске
у перекрестка гладких ног

чижа на розовой подвязке.
Смеется чиж — гляди! гляди!
но бабы дальше ускакали
и медным лесом впереди
гудит фокстрот на пьедестале.

И, так играя, человек
родил в последнюю минуту
прекраснейшего из калек —
женоподобного Иуду.
Его музыкой не буди —
он спит сегодня помертвелый
с цыплячьим знаком на груди
росток болезненного тела.
А там — над бедною землей,
во славу винам и кларнетам —
парит на женщине герой,
стреляя в воздух пистолетом!

Март 1928

ФИГУРЫ СНА

Под одеялом, укрощая бег,
фигуру сна находит человек.

Не месяц — длинное бельмо
прельщает чашечки умов;
не звезды — канарейки ночи
блестящим реют многоточьем.
А в темноте — кроватей ряд,
на них младенцы спят под ряд;
большие белые тела
едва покрыло одеяло,
они заснули как попало:
один в рубахе голубой
скатился к полу головой;
другой, застыв в подушке душной,
лежит сухой и золотушный,
а третий — жирный как паук,
раскинув рук живые снасти,
храпит и корчится от страсти,
лаская призрачных подруг.

А там — за черной занавеской,
во мраке дедовских времен,
старик-отец, гремя стамеской,
премудрости вкушает сон.

Там шкаф глядит царем Давидом —
он спит в короне, толстопуз;
кушетка Евой обернулась —
она — как девка в простыне.
И лампа медная в окне,
как голубок веселый Ноев, —
едва мерцает, мрак утроив,
с простой стамеской наравне.

Март 1928

ПЕКАРНЯ

Спадая в маленький квартал,
покорный вечер умирал,
как лампочка в стеклянной банке.
Зари причудливые ранки
дымились, упадая ниц;
на крышах чашки черепиц
встречали их подобьем лиц,
слегка оскаленных от злости.
И кот в трубу засунул хвостик.

Но крендель, вывихнув дугу,
застрял в цепи на всем скаку
и закачался над пекарней,
мгновенно делаясь центральной
фигурой. Снизу пекаря
видали: плавает заря
как масло вдоль по хлебным формам,
но этим формам негде лечь —
повсюду огненная течь,
храпит беременная печь
и громыхает словно Сормов.

Тут тесто, вырвав квашен днище,
как лютый зверь в пекарне рыщет,
ползет, клубится, глотку давит,

огромным рылом стену трет;
стена трещит: она не в праве
остановить победный ход.
Уж воют вздернутые бревна,
но вот — через туман и дождь,
подняв фонарь шестиугольный,
ударил в сковороду вождь, —
и хлебопеки сквозь туман,
как будто идола в тиарах,
летят, играя на цимбалах
кастрюль неведомый канкан.

Как изукрашенные стяги,
лопаты ходят тяжело
и теста ровные корчаги
плывут в квадратное жерло.
И в этой красной от натуги
пещере всех метаморфоз
младенец-хлеб приподнял руки
и слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
трубил о нем во мрак ночной.

А печь, наследника родив
и стройное поправив чрево,
стоит стыдливая, как дева
с ночною розой на груди.
И кот, в почетном сидя месте,

усталой лапкой рыльце крестит,
зловонным хвостиком вертит,
потом кувшинчиком сидит.
Сидит-сидит и улыбнется,
и вдруг исчез. Одно болотце
осталось в глиняном полу.
И утро выплыло в углу.

Апр. 1928

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

В моем окне — на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики как падишахи,
кося запутав медью блях,
идут закутаны в рубахи,
с нелепой важностью нерях.
Вокруг — пивные встали в ряд,
ломовики в пивных сидят
и в окна конских морд толпа
глядит, мотаясь у столба,
и в окна конских морд собор
глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
течет толпа на полверсты,
кричат слепцы блестящим хором,
стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
ладонью бьет, поет как кречет:
маклак — владыка всех штанов,
ему подвластен ход миров,
ему подвластно толп движенье,
толпу томит штанов круженье,
и вот — она, забывши честь,
стоит, не в силах глаз отвести,
вся — прелесть и изнеможенье!

Кричи, маклак, свисти уродом,
мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом
иная движется река:
один — сапог несет на блюде,
другой — поет собачку-пудель,
а третий, грозен и румян,
в кастрюлю бьет как в барабан.
И нету сил держаться боле:
толпа в плену, толпа в неволе,
толпа лунатиком идет,
ладони вытянув вперед.

А вокруг — черны заводов замки,
высок под облаком гудок,
и вот опять идут мустанги
на колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
и плещет взорванная грязь,
и над каналом спят калеки,
к пустым бутылкам прислонясь.

Июнь 1928

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Закинув дудку на плечо
как змея, как сирену,
с которой он теперь течет
пешком, томясь, в геенну,
в которой — рев, в которой — рык
и пятаков летанье золотое —
так вышел музыкант-старик.

За ним бежали двое.
Один — сжимая скрипки тень,
как листиком махал ей;
он был горбатик, разночинец, шаромыжка
с большими щупальцами рук,
его вспотевшие подмышки
протяжный издавали звук.

Другой был дядя и борец
и чемпион гитары —
огромный нес в руках крестец
с роскошной песнею Тамары.
На том крестце — семь струн железных,
и семь валов, и семь колков,
рукой построены полезной,
болтались в виде уголков.

На стогнах солнце опускалось,
неслись извозчики гурьбой,
как бы фигуры пошехонцев
на волокнистых лошадях;
а змей в колодце среди окон
развился вдруг как медный локон,
взметнулся вверх тупым жерлом
и вдруг — завыл... Глухим орлом
был первый звук. Он, грохнув, пал;
за ним второй орел предстал;
орлы в кукушек превращались,
кукушки в точки уменьшались
и точки, горло сжав в комок,
упали в окна всех домов.

Тогда горбати́к скрипочку
приплюснув подбородком,
слепил перстом улыбочку
на личике коротком
и, визгнув поперечиной
по маленьким струна́м,
заплакал — искалеченный —
ти-лим-там-там.

Система тронулась в порядке,
качались знаки вымысла,
и каждый слушатель украдкой
слезою чистой вымылся,

когда на подоконниках
среди музыки и грохота
легла толпа поклонников
в подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти
и чемпион гитары
подъял крестец, поправил части
и с песней нежною Тамары
уста тихонько растворил.
И все умолкло...

Звук самодержавный,
глухой как шум Куры,
роскошный как мечта,
пронесся...

И в звуке том — Тамара, сняв штаны,
лежала на кавказском ложе,
сиял поток раздвоенной спины,
и юноши стояли тоже.

И юноши стояли,
махали руками,
и стр-растные дикие звуки
всю ночь р-раздавались там!!!
Ти-лим-там-там!

Певец был строен и суров,
он пел, трудясь, среди домов,
среди выгребных высоких ям

трудился он, могуч и прям.
Вокруг него — система кошек,
система ведер, окон, дров
висела, темный мир размножив
на царства узкие дворов.
Но что́ был двор? Он был трубой,
он был туннелем в те края,
где спит Тамара боевая,
где сохнет молодость моя,
где пятаки, жужжа и млея
в неверном свете огонька,
летят к ногам золотого змея
и пляшут, падая в века!

Авг. 1928

4

КУПАЛЬЩИКИ

Кто — чернец — покинув печку,
лезет в ванну или тазик —
приходи купаться в речку,
отступись от безобразий!

Кто, кукушку в руку спрятав,
в воду падает с размаха —
во главе плывет отряда,
только дым идет из паха.

Все, впервые сняв одежды
и различные доспехи,
выплывают как невежды,
но потом идут успехи!

Влага нежною гусыней
щиплет части юных тел
и рукою водит синей,
если кто-нибудь вспотел.

Если кто-нибудь не хочет
оставаться долго мокрым —
трет себя сухим платочком
цвета воздуха и охры.

Если кто-нибудь томится
страстью или искушеньем, —
может быстро охладиться,
отдыхая без движенья.

Если кто любить не может,
но изглодан весь тоскою, —
сам себе теперь поможет,
тихо плавая с доскою.

О, река, невеста, мамка,
всех вместившая на лоне,
ты — не девка и не самка,
но святая на иконе!

Ты — не девка и не мамка,
но святая Парасковья,
нас, купальщиков, встречай
где песок и молочай!

Сент. 1928

НЕЗРЕЛОСТЬ

Младенец кашку составляет
из манных зерен голубых;
зерно, как кубик, вылетает
из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну — горшок наполнен
и вот, качаясь, он висит,
как колокол на колокольне,
квадратной силой знаменит.
Ребенок лезет вдоль по чащам,
ореховые рвет листы
и над деревьями все чаще
его колеблются персты.
И девочки, носимы вместе,
к нему по облаку плывут;
одна из них, снимая крестик,
тихонько падает в траву.
Горшок клубится под ногою,
огня субстанция жива,
и девочка лежит нагою,
в огонь откинув кружева.
Ребенок тихо отвечает:
— Младенец я и не окреп,
как я могу к тебе причалить,
когда любовью не ослеп?
Красот твоих мне стыден вид,

закрой же ножки белой тканью,
смотри, как мой костер горит
и не готовься к поруганью!
И, тихо взяв мешалку в руки,
он мудро кашу помешал —
так он урок живой науки
душе несчастной преподавал.

Сент. 1928

НАРОДНЫЙ ДОМ

1

Весь мир обоями оклеен —
пещерка малая любви,
окошки в образе расселин
и занавески в виде роз;
знакомых карточки приятные
прибиты клиньями вокруг
стола. «О, ночки, ночки невозвратные!» —
поет гитара во весь дух.
Гитара медная поет,
рыдает брюхо деревянное,
спеши, медовая салопница —
тут девки сели наотлет —
упали ручки вертикальные,
на солнце кожа шелушится,
облуплен нос и плоски лица
подержанные. Девки сели,
плетут в мочалу волоса,
взбивают жирные постели
и говорят: — Мы очень рады,
сидим кружками, ждем награды,
она придет — волшебница приятная,
приедут на колесах женихи,
кафтаны снимут, впечатления
свои изложат от души.

Мы их за ручки всё хватаем,
с различным видом всё хохочем.
потом чулочки одеваем —
какие ноги у нас длинные —
повыше видимых коленок! —
Так эти девочки невинные
болтали шумно меж собою,
играя весело с судьбою...

Но что за дело до судьбы,
когда в крови волненье,
когда, как мыльные клубы,
несутся впечатленья?

В трамвае движется компания,
проходит Кронверкский в окошке,
и лица доснятся как плашки,
и платья с красными тюльпанами,
в поту желая быть красивыми,
играют ситцевыми сливами,
и руки кажутся прекрасными —
они все дальше-дальше тянутся,
и вот — сверкает кверху дном
Народный Дом.

2

Народный Дом — курятник радости,
амбар волшебного житья,
корыто праздничное страсти.

густое пекло бытия!
Тут колпаки красноармейские,
а с ними дамочки житейские
неслись задумчивым ручьем —
им шум столичный нищочем;
тут радость пальчиком водила,
она к народу шла потехою:
тут каждый мальчик забавлялся,
кто дамочку кормил орехами,
а кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты,
над ними девочки — богини красоты —
в повозки быстрые запрягались,
повозки катятся вперед,
красотки нежные расплакались,
упав совсем на кавалеров.
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане
свою пречистую собачку,
сама вспотела вся до нитки
и грудки выехали вверх, —
а та собачка пречестная,
весенним соком налитая,
грибными ножками неловко
вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой
мужик роскошный, апельсинщик,

он держит тазик разноцветный,
в нем апельсины аккуратные лежат.
Как будто циркулем очерченные круги
они волнисты и упруги,
как будто маленькие солнышки, они
легко катаются по жести
и пальчикам лепечут: лезьте, лезьте!

И девка, кушая плоды,
благодарит рублем прохожего,
она зовет его на „ты“,
но ей другого хочется — хорошего.
Она хорошего глазами ищет,
но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа
висела, ножкою шурша,
она по воздуху летела
и теплой ножкою вертела,
и теплой ручкою звала.

Другой же, увидев преломленное
свое лицо в горбатом зеркале,
стоял молодчиком оплеванным,
хотел смеяться, но не мог;
желая знать причину искривления,
он как бы делался ребенком
и шел назад на четвереньках —
под сорок лет — четвероног.

Едва волнение улеглось,
опять кружение продолжается;
припухли люди от дыхания,
тут жмутся девочки друг к дружке;
ходить не так уже удобно,
спускаясь к речке, растекаются
они рассеянными парочками,
в коленки нежные садясь.

3

Но перед этим праздничным угаром
иные будто спасовали—
они довольны не амбаром радости,
они тут в молодости побывали;
и вот теперь, шепча с бутылкою,
прощаясь с молодостью пылкою,
они скребут стакан зубами,
они губой его высасывают,
они в Баварии рассказывают
свои веселия шальные;
ведь им бутылка — словно матушка,
души медочая салодница,
целует слаще всякой девки,
а холодит — сильнее Невки...

Они глядят в стекло.
В стекле восходит утро.
Фонарь бескровный, как глиста.

стрелой болтается в кустах.
И по трамваям рай качается —
тут каждый мальчик улыбается.
а девочка наоборот —
закрыв глаза, открыла рот
и ручку выбросила теплую
на приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет...

1927—1928

СОДЕРЖАНИЕ

1	
Красная Бавария	7
Белая ночь	10
Футбол	13
2	
Море	19
Офорт	21
Черкешенка	22
Лето	24
3	
Часовой	27
Новый быт	29
Движение	32
На рынке	33
Пир	36
Ивановы	39
Свадьба	42
Фокстрот	46
Фигуры сна	48
Пекарня	50
Обводный канал	53
Бродячие музыканты	55
4	
Купальщики	61
Незрелость	63
Народный Дом	65

В